

## ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА К ПУШКИНСКОЙ РЕЧИ

### 1. Откуда взялась «дикая женщина»?

Так называемая глухая цитата — перемигивание автора со знающими людьми, головная боль для позднейших комментаторов.

В Пушкинской речи, говоря о «скитальце» Алеко («Цыганы»), Достоевский мимоходом замечает: «Понятно, женщина, „дикая женщина“, по выражению одного поэта, всего скорее могла подать ему надежду на исход тоски его...» (26, 138).

В академическом издании сочинений писателя это место комментируется следующим образом: «Возможно, имеются в виду слова поэта Я. П. Полонского из его статьи „По поводу последней повести графа Л. Н. Толстого «Казаки»“: „Я был также на Кавказе, также испытал на себе страсть к полудикой женщине...” (Время. 1863. № 3. Отд. II. С. 96)» (26, 495).

Между тем в черновых вариантах речи находим ту же цитату в более расширенном виде, исключая авторство Полонского: «...по выражению одного поэта нашего. Дайте мне женщину, дикую женщину» (26, 284).

«Один поэт наш» — Дмитрий Дмитриевич Минаев, когда-то соавтор, а потом недоброжелатель Достоевского. В статье «Из дневника „Искры“: Литературные заметки, размышления, новости и слухи» (Искра. 1863. 31 мая. № 20. С. 287—288) он прошелся по поводу упомянутой выше статьи: «Я. П. Полонский живет теперь воспоминаниями о прошлом и в одной своей критической статье {...} меланхолически признается в том, что он, в бытность свою на Кавказе, „испытал на себе страсть к полудикой женщине“. Говорите после того, что тип Алеко Пушкина — тип невозможный». Далее Минаев включил в фельетон свою стихотворную пародию «Весенняя греза (Песня, подслушанная нами у Я. П. Полонского)», где есть такие строки:

Чем утолю свою жажду великую?  
Рвется душа на простор...  
Дайте мне женщину, женщину дикую,  
Дочь первобытную гор,  
Жарко я к сердцу прижму смуглолицую,  
И обовьюсь вокруг нее повиликою...  
Страстию дикой горя,  
Сам обращусь в дикаря.

Одновременно и даже чуть раньше то же стихотворение Минаев поместил в свой сборник «Думы и песни» (СПб., 1863. С. 392—393) под названием «Дайте мне женщину, женщину дикую!..» с эпигра-

фом из статьи Я. П. Полонского. Пародия Минаева, очевидно, метила одновременно и в простодушного критика, и в его предмет — героя «Казак» Оленина, во многом автобиографического героя Л. Н. Толстого. Впоследствии Минаев не перепечатывал это стихотворение в своих сборниках. Достоевскому же, судя по всему, и через пятнадцать лет был памятен полемический эпизод, задевавший его журнал «Время».

Были и другие причины, объясняющие, почему выражение Полонского—Минаева «дикая женщина» так хорошо запомнилось Достоевскому. Оно несло в себе память о значимом веянии эпохи. Не случайно Минаев вспомнил пушкинских «Цыган», в этой же связке выражение «дикая женщина» явится и в речи Достоевского.

Пушкинская тема в разработке данного сюжета имела свой собственный литературный источник.

Общий архетип обнаруживается в произведении, появившемся за шесть лет до Пушкинской речи Достоевского. В очерке В. П. Буренина «Из записок самоубийцы» описан некий либерал-идеалист Аркадий Облаков, который рассказывает повествователю историю своей любви к «дикой женщине» и на вопрос собеседника «Что это такое?» поясняет: «Дикая, дикарка, во всей ее непосредственной первобытной красоте, со всем пылом ее дикой страсти». Далее говорится, что «Облаков воспылал жадой „испытать любовь дикой женщины“ на манер Байрона...», и упоминается увлечение последнего «венецианской крестьянкой».<sup>1</sup>

Буренин указывает нам на первоисточник этого расхожего мотива в русской и мировой литературе. «Любовь дикой женщины» — неперемнная составляющая сюжета знаменитых поэм Байрона «Корсар», «Паломничество Чайльд-Гарольда», «Дон Жуан». Не меньшее значение для европейской литературы имел этот мотив как факт биографии Байрона, широко обсуждавшийся после публикации его дневников и писем.<sup>2</sup> Увлечение «венецианской крестьянкой», на которое указывает Буренин, упоминается также в «Записках о лорде Байроне» Даллеса Медвина.<sup>3</sup> Это была небезызвестная Маргарита Коньи, после двухлетней связи поэт в письме к Джону Меррею 1 августа 1819 года характеризовал ее как «великолепное животное, приручить которое было невозможно».<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Буренин В. Очерки и пародии. СПб., 1874. С. 123, 126.

<sup>2</sup> См.: Letters and Journals of Lord Byron with Notices of his Life. London, 1830 (переводы отдельных отрывков печатались в 1831 г. в «Сыне Отечества» и «Колокольчике»). О популярности этого издания в России см.: Гиривенко А. Н. Первые русские отклики на книгу Т. Мура «Письма и дневники лорда Байрона» // Вестник Московского гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 1988. № 6.

<sup>3</sup> Записки о лорде Байроне. СПб., 1835. Ч 1. С. 88—89.

<sup>4</sup> Байрон Дж. Дневники. Письма. М., 1963. С. 176—178.

Мифология «дикой любви» имела значительное продолжение как в русской литературе от Пушкина до Льва Толстого, так и непосредственно в дворянском быту (любовь к дочерям табора, гор, степей...). Образованный герой на краткий миг увлекался экзотикой новизны («Бэла» М. Лермонтова), пробовал просвещать «дикую красоту» («Цыганка» Е. Баратынского), снова отдавался мечте об уединенной жизни с «прелестной, но дикой» возлюбленной («Казаки» Л. Толстого). «Высокая» рефлексия на эту тему Л. Толстого и Полонского была уже второй волной культурного мифа, встреченного жестокой пародийной насмешкой Минаева, Буренина... Поздняя рецепция мифа, как нам представляется, нашла перверсивное отражение в циническом эксперименте Ставрогина над Хромоножкой.

Нелишне будет заметить, что еще в начальном своем литературном бытовании на русской почве миф претерпел характерную переакцентировку в романтических поэмах Пушкина: в «Цыганах», по сравнению с «Кавказским пленником», культурный герой отвергнут «дикой» красавицей — сюжет, ведущий от байронической победительности к «Кармен», к «Казакам»... Дальний отголосок мифа можно найти и в «Евгении Онегине», в частности, в описании Татьяны:

Дика, печальна, молчалива,  
Как лань лесная боязлива...

а затем в портрете «одичавшей» музы в начале восьмой главы. «Дикость» Татьяны особенно подчеркивал в своей интерпретации романа В. Г. Белинский: он сравнивал героиню с цветком, выросшим «в расщелине дикой скалы», с «диким растением, вполне предоставленным самому себе», отмечал ее «неразвитый ум» и «дикую фантазию». <sup>5</sup> Некоторая даже навязчивость эпитета «дикий» в применении к Татьяне, очевидно, не обошлась без воздействия (возможно, неосознанного) интересующей нас мифологемы. Эта последняя глубоко вросла в культурную память эпохи.

Цитируя в Пушкинской речи выражение Полонского—Минаева, Достоевский, таким образом, отсылал слушателей не столько к конкретному произведению (имя автора им не было названо), сколько в целом ко всей мифологеме «дикой женщины», живущей в культурном сознании современников. За глухой цитатой открывалась цель ассоциаций, обозначающих пространство новой европейской и русской мифологии.

---

<sup>5</sup> Настоячивость эпитета «дикий» в словоупотреблении критика заметил Ю. Н. Чумаков; см.: Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 232—233.

## 2. «Старый муж», или Читал ли Достоевский «Евгения Онегина»?

В свое время Н. О. Лернер обратил внимание на «ошибку» Достоевского: «В своей знаменитой речи о Пушкине он несколько раз назвал мужа Татьяны „стариком“, „старцем“, „старым мужем“: эта старость в глазах писателя увеличивала жертву Татьяниной верности. Жалостливое сердце Достоевского невольно подсказало эту, по существу ненужную, черту, не оправдываемую ни показаниями самого создателя Онегина, ни общеисторическими условиями онегинской эпохи».<sup>6</sup>

Тема имела продолжение в пушкиноведении. Наиболее решительно замкнул сюжет В. В. Набоков: «В опубликованном тексте знаменитой политико-патриотической речи, по сути рассчитанной на дешевый эффект (...) Федор Достоевский, сильно переоцененный сентиментальный романист, писавший в готическом духе, пространно разглагольствуя о пушкинской Татьяне как о „положительном типе русской женщины“, пребывает в странном заблуждении, будто ее муж был „почтенным старцем“. Он также считает, что Онегин „скитался по землям иностранным“ (...) все это вместе взятое доказывает, что Достоевский по-настоящему „Евгения Онегина“ не читал».<sup>7</sup>

Ко второй из ошибок «сентиментального романиста» мы еще вернемся. Что же касается первой, то следовало бы назвать еще одного мифотворца, куда сильнее воздействовавшего на массовое культурное сознание, — П. И. Чайковского с его «Евгением Онегиным». О «пушкинистских несообразностях» оперы в 1933 году написал В. Ф. Ходасевич: «Чайковский не только придумал фамилию мужу Татьяны, но и столь же неосновательно сделал его стариком. У Пушкина о нем прямо сказано только то, что он важный и толстый генерал (гл. VII, строфа 54) и что он князь (гл. VIII, строфа 17)». По расчетам Ходасевича, князь N женился на Татьяне «лет тридцати четырех. Больше ему никак нельзя дать. Воображать его стариком не следует. Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине повторил ошибку Чайковского».<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 215. Князя N Достоевский не называет «старцем» (см. далее о Г. Успенском), пять раз он употребляет слово «старик» и однажды — «старый муж».

<sup>7</sup> Набоков В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 560. Ср.: Там же. С. 799. В отечественном пушкиноведении (Б. В. Томашевский, Г. П. Макогоненко и др.) найдется немало подобных суждений, хотя и не в столь категорической форме, например: «„Онегин“ не столько интерпретируется, сколько используется им (Достоевским) как инструмент для проведения предвзятых идей, что в конце концов вредит смысловой слитности текста» (Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. С. 233).

<sup>8</sup> Ходасевич Вл. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. С. 191.

Обращавшиеся к этому эпизоду пушкинисты возводили «недоразумение» то к Достоевскому,<sup>9</sup> то к Чайковскому,<sup>10</sup> то к обоим вместе.<sup>11</sup> Наличие контактных связей, т. е. воздействие речи Достоевского на формирование текста оперного либретто Чайковского (а не наоборот) установил А. А. Гозенпуд. Как он полагает, следом шла театральная практика: «...магия речи Достоевского была такова, что, начиная с постановки Большого театра в 1881 году, Гремин всегда оказывался пожилым, а то и стариком. Эта традиция сохранилась до наших дней».<sup>12</sup> Насколько в действительности утверждение о «старом муже» Татьяны противоречит тексту пушкинского романа? Лернер и Набоков полагали, что абсолютно. Другого мнения придерживался Н. К. Пиксанов: «невероятно», считал он, чтобы «важный генерал» был сверстником Онегина, несмотря на то что он с ним «вспоминает / Проказы, шутки прежних лет». Вывод исследователя: «неясность» находится в самом романе.<sup>13</sup>

Близкую точку зрения недавно высказал В. А. Кошелев. Он обратил внимание на то, что в отличие от окончательного текста в черновиках романа возраст князя N указан недвусмысленно. В авторских характеристиках это «мужчина важный пожилой», «степенный важный генерал», «какой-то старый генерал». В словах «тетушек» к Татьяне — «Ты видишь старый генерал». Наконец, сама Татьяна: «Кто, старый этот Генерал».<sup>14</sup> В окончательном тексте седьмой главы на этом месте стоит: «Кто? толстый этот генерал?». «В популярной пушкинистике много писали о том, что Татьянин муж вовсе не „старый“, а вполне даже молодой — не случайно в восьмой главе он фигурирует как друг Онегина, и Онегин (которому, по указанию автора, 26 лет) зовет его на „ты“ («Так ты женат?..»). Но откуда же тогда указания в черновике, приведенные выше? Да и в окончательном тексте: „важный генерал“, „толстый генерал“, „князь N“, „и нос и плечи подымал“, „в сраженьях изувечен“... Все эти указания более подходят не к молодым „генералам“ из декабристов (М. Ф. Орлов или С. Г. Волконский), а все-таки к баящему „генералу Гремину“ из оперы Чайковского. Пушкину, по-видимому, вполне безразличен

---

<sup>9</sup> *Слонимский А.* Мастерство Пушкина. М., 1963. С. 345. По предположению исследователя, мужу Татьяны около 32 лет. Около 35 ему «дают» Н. О. Лернер, Ю. М. Лотман.

<sup>10</sup> *Мейлах Б.* Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 605.

<sup>11</sup> *Бродский Н. Л.* «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. М., 1964. С. 313—314.

<sup>12</sup> *Гозенпуд А.* Достоевский и музыкально-театральное искусство. Л., 1981. С. 167.

<sup>13</sup> *Пиксанов Н. К.* Из анализов Онегина. Образ Татьяны // А. С. Пушкин. М., 1929. С. 189—190.

<sup>14</sup> *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1937. Т. 6. С. 462.

возраст Татьянинного мужа <...> Он его даже не называет: муж — и муж, генерал — и генерал...».<sup>15</sup>

С этим трудно не согласиться. Муж Татьяны — «лишь персонафицированное сюжетное обстоятельство»,<sup>16</sup> что-то вроде обозначенных, но пропущенных строк романа, которые мы можем наполнить содержанием по собственному усмотрению (но в направлении, обозначенном автором). Возможную претензию к Достоевскому в таком случае следовало бы уточнить: соответствует ли предложенная им конкретизация внутренней логике романа или в корне противоречит ей? Свидетельства черновых редакций как будто бы говорят о соответствии. Нужно, правда, не забывать, что, во-первых, это все же черновые, т.е. отвергнутые (по неизвестным нам мотивам) варианты, а во-вторых, «старый» в 1880 году не совсем то же, что в 1828-м: условная граница, за которой человек считался таковым, за эти полвека отодвинулась к более поздним срокам. В пушкинские времена 35-летний генерал, т.е. давно перешагнувший за «роковой» рубеж 30-летия (ср.: «... ужель мне скоро тридцать лет») вполне мог показаться «пожилым», а с точки зрения юной Татьяны так даже и «старым». Конечно, «толстый», «важный» окончательного текста не исключают старости в ее позднем истолковании («старый человек <...> кому под 60 и более» — словарь В. И. Даля). Этого, однако, мало для безапелляционного утверждения, каковым была версия Достоевского: для него муж Татьяны «старик» по всем меркам. Очевидно, интерпретатор черпал свою уверенность не только из текста пушкинского романа. Обратим внимание: какой-либо подтасовки не заметил ни один из слушателей речи или читателей «очерка» Достоевского. Более того, споривший с ним Г. И. Успенский не только принял предложенное условие, но еще развил его. Публицист «Отечественных записок» называет пушкинского героя «старцем генералом» и предполагает, что «девицы, подносявшие г. Достоевскому венок, подносили ему его не в благодарность за совет посвящать свою жизнь уходу за старыми хрычами, насильно навязанными в мужья...». Впоследствии Успенский придумал сценку, в которой пушкинский герой приходит благодарить Достоевского за то, что тот «заступился за него, он хоть и стар, но он любил Татьяну „как отец“, лелеял ее как зеницу ока...».<sup>17</sup>

Как видим, Успенский зашел с иной стороны: он предложил задуматься, как выглядит в предлагаемых обстоятельствах нравственная позиция «старого мужа». Критик не усомнился, однако, в самом существовании последнего в пушкинском романе. Такое прочтение не только не было удивительным для современников Достоевского и

<sup>15</sup> Кошелев В. А. «Онегина» воздушная громада...». СПб., 1999. С. 157.

<sup>16</sup> Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 443.

<sup>17</sup> Успенский Г. И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1957. Т. 9. С. 99, 100.

Успенского, но и даже чем-то новым. Шесть лет ранее в одной довольно популярной книжке, развивавшей темы Белинского, Татьяна была подвергнута осуждению за ее отказ Онегину: «Супружеские отношения с старым генералом являются противуестественными и безнравственными, когда любишь другого».<sup>18</sup> Очевидно, что приведенное утверждение не было единственным. Еще раньше в известной переделке Д. Д. Минаева «Евгений Онегин, роман в стихах, сокращенный и исправленный по статьям новейших лже-реалистов» (с 1865 года выдержал несколько изданий) муж Татьяны предстает «стариком» с «походкой вялой». Продвигаясь далее в обратной исторической перспективе (от речи Достоевского к роману Пушкина), мы находим одно из самых ранних прочтений такого рода в письме В. П. Боткина к В. Г. Белинскому от 22 марта 1842 года: «Как я высоко ни ставлю „Онегина“, как мне истинною и глубокомысленно-действительною ни кажется развязка его, — все, однако ж, не могу я примириться с положением Татьяны, добровольно осуждающей себя на проституцию с своим старым генералом. {...} то, что прежде считалось нравственным, высокою жертвою, доблестью — кажется теперь безнравственным, прекраснодоушием, слабостью...».<sup>19</sup> К моменту Пушкинской речи это мнение стало расхожим (немалый вклад внесла «разоблачительная» статья Д. И. Писарева), и Достоевский имел основание сказать, что «вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в литературе нашей, своего рода историю весьма характерную» (26, 142). Комментатор Пушкинской речи в академическом издании указывает только на Белинского (см.: 26, 499—500), что явно сужает диапазон критики Достоевского.

Разойдясь в оценке финального поступка пушкинской героини, эмансипаторы Боткин, Авдеев, Успенский и традиционалист Достоевский апеллировали к одному и тому же обстоятельству семейной жизни княгини N, к ее «старому мужу». И те и другие могли опереться в его понимании на произведения писателя, где разрабатывался сходный мотив. «В сущности, в чем заключается сюжет всех пушкинских вещей? — писал С. М. Эйзенштейн. — Упростим схему сюжета: старик, преграждающий путь к счастью. Молодые любящие и старик, мешающий их любви. Вспомните: „Евгений Онегин“, „Цыганы“, „Борис Годунов“, „Капитанская дочка“».<sup>20</sup> Постановка «Евге-

<sup>18</sup> Авдеев М. В. Наше общество (1820—1870) в героях и героинях литературы. СПб., 1874. С. 183.

<sup>19</sup> Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 246.

<sup>20</sup> Вайсфельд И. Последний разговор с С. М. Эйзенштейном // Вопросы литературы. 1969. № 5. С. 252. Ср. комментарий к этому высказыванию: Кулагин А. В. Стихотворение Пушкина «Я здесь, Инезилья...» в поэтическом контексте // Проблемы современного пушкиноведения. Псков, 1991. С. 80—81.

ния Онегина» в такой ряд (его можно продолжить: поэмы «Руслан и Людмила», «Гавриилиада», «Граф Нулин», стихотворения «Я здесь, Инезилья...», «Воевода», «Феодор и Елена»...) как будто подтверждает «эмансипаторское» прочтение романа: «старый муж» (или злой могущественный старик) оказывается преградой для молодых влюбленных. У Пушкина, правда, есть обратный мотив, когда «старый муж» оказывается желанным, а не его молодой соперник («Полтава»), но едва ли роман в стихах имеет к нему хоть малейшее отношение. Другое дело — «Дубровский», дающий наиболее прочную интертекстуальную основу для «традиционалистского» прочтения финала «Евгения Онегина». Старый князь Верейский разрушает возможное счастье молодых героев, но «эмансипаторское» начало здесь очевидным образом отступает в последней встрече Дубровского и Маши, созвучной последнему объяснению Онегина и Татьяны: «Вы свободны (...) — Поздно — я обвенчана, я жена князя Верейского, — (...) вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться... — Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твердостью, — князь мой муж...».

Как уже не раз отмечалось в пушкиноведении, подобный поворот сюжета восходит к народной песне «Я достануся другому, друг, / И верна буду по смерть мою».<sup>21</sup> Осмелимся предположить, что первым (еще в 1846 году), типологичность финала «Евгения Онегина» обозначил близкий тогда Достоевскому В. Н. Майков: он сравнил Татьяну с женскими образами Кольцова, также выражающими «страдательность» жизненной позиции, граничащую с фатализмом. В связи с чем критик привел соответствующие строки из кольцовской «Русской песни» («Ах, зачем меня...»):

Силой выдали  
За немилова —  
Мужа старова.<sup>22</sup>

Лирическая героиня приемлет горькую свою судьбу как должное: «Не расти траве / После осени; / Не цвести цветам / Зимой по снегу!». Это убеждение близко пушкинской Татьяне и в то же время обнаруживает корневую систему, ведущую к фольклорной традиции.

Пора, однако, вернуться к речи Достоевского. Тема «старого мужа», вычитанная им из «Евгения Онегина», опирается не столько на *текст*, сколько на *контекст* романа, а точнее, на текст, раст-

<sup>21</sup> См.: Строгонов М. В. Из комментариев к «Евгению Онегину» // Проблемы современного пушкиноведения. С. 43.

<sup>22</sup> Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 169. Достоевский и сам затем, по другому поводу, обратился к этому стихотворению, несколько переиначив его в своих целях (см.: 20, 120 — в комментариях стихотворение Кольцова не опознано).

воренный в контексте (текст—контекст). Подобная интерпретационная вольность не только не была новостью для читателей, но и воспринималась как вполне закономерная. Достоевский, как можно заметить, развернул текст—контекст романа далеко за границы пушкинской эпохи. Это касается не только ведущей темы скитальчества русского человека, но и интересующего нас сравнительно более частного мотива.

Внимательнее вчитаемся в то, что сказал Достоевский 8 июня 1880 года о последней сцене пушкинского романа: «Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой <...>. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить <...> смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен» (26, 142). Весь этот пассаж не что иное, как *домысливание*, философское и психологическое *дополнение* пушкинского романа. Начало его (о цене счастья) — вариация на тему «слезинки ребенка», недавно прозвучавшую у самого Достоевского: глава «Бунт» из романа «Братья Карамазовы» уже была знакома слушателям и читателям Пушкинской речи. Не менее знакомыми в современном литературном контексте оказывались и развернутые подробности из жизни «честного старика, мужа молодой жены» и т. д. Другой великий роман вставал за этими подробностями — «Анна Каренина» Л. Н. Толстого с ее несомненным онегинским акцентом.

Речь Достоевского о Пушкине воспринималась современниками в контексте предшествующих выступлений писателя и публициста. Очевидно, и сам желая включить речь в этот контекст, автор напечатал ее и приложения к ней под названием «Дневник писателя. Ежемесячное издание. Год III. Единственный выпуск на 1880». В предыдущем II годе издания (1877) центральным литературным событием, осмысленным как «факт особого значения», был указанный выше толстовский роман.

Есть основания утверждать, что речь Достоевского имела впоследствии «обратное» влияние — теперь уже на истолкование «Анны Карениной». Меньше чем через три года после пушкинского праздника М. С. Громека сформулировал основную идею толстовского романа весьма близко к тексту речи Достоевского: «Нельзя разрушить семью, не создав ей несчастья, и на этом старом несчастье нельзя построить нового счастья».<sup>23</sup> Критик, несомненно, обузил

---

<sup>23</sup> Громека С. С. Последние произведения гр. Л. Н. Толстого // Русская мысль. 1883. Кн. 2. С. 265.

смысл романа, но поразительно, что Толстой, недавно еще резко противившийся всем попыткам свести художественное «сцепление» романа к одной идее, теперь вдруг сдался: «Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение... Наконец-то объяснена „Анна Каренина“!».<sup>24</sup>

Истолкование Достоевским «Анны Карениной» как современного парафраза на тему «Евгения Онегина» «вернулось» — через посредника — к творцу этого постонегинского романа и было им авторизовано. Пушкинский же роман в прочтении Достоевского словно бы пророс через вершинные романы XIX в. — «Братья Карамазовы», «Анна Каренина».

Нечто похожее мы наблюдаем, когда обращаемся еще к одной «ошибке» Достоевского, язвительно отмеченной В. Набоковым. Это то место в речи, где Достоевский описывает путешествие Онегина: «...когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим» (26, 140). Эта, кажется, очевидная фантазия автора речи вновь питается от литературного контекста, здесь же и названного: несколькими строчками ниже Достоевский вспомнит о «повторении» женского типа Татьяны в Лизе из «Дворянского гнезда» Тургенева. Рассуждения о «скитальчестве» Онегина «по землям иностранным», не имея ничего общего с текстом пушкинского романа, передают ощущения («чувствует себя и у чужих себе самому чужим»), испытанные за границей главным героем *тургеневского* романа. Правда, в отличие от Онегина, который «верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, — и тогда, как и теперь, немногих, — смотрит с грустной насмешкой» (26, 140), — Лаврецкий относится именно к этим «немногим»: он вернулся в Россию «пахать землю». И сам этот роман Тургенева воспринимался Достоевским (вслед за А. А. Григорьевым) как яркое свидетельство нарождающейся в русском образованном обществе «откатной» волны — возвращения «скитальцев» (словцо из тургеневского романа!) на родную «ниву» («землю», «почву», «гнездо»)<sup>25</sup>

Возвращаясь к набоковскому недоуменному (и провоцирующему) вопросу, можно сказать, что Достоевский действительно читал

---

<sup>24</sup> Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1960. Т. 1. С. 295.

<sup>25</sup> Интересно, что и в этом романе присутствует, хотя и полупародийно, тема «старого мужа». 23-летний любовник Варвары Павловны Лаврецкой (ее мужу немногим более тридцати, а ей самой 25—26) в игривой записке предлагает: «Мы опять споем ту песенку вашего поэта *Пушкина* (...), которой ты меня научила: „Старый муж, грозный муж!“». Серьезное же столкновение «эмансипаторского» и «традиционалистского» начал в истории любви Лаврецкого и Лизы в тургеневском постонегинском пространстве осталось трагически неразрешенным.

другого «Евгения Онегина». Пушкинский роман он воспринял не как непредвзятый читатель, каким должен быть в идеале исследователь-комментатор (Набоков ли, другой ли), но именно как читатель предвзятый, наделенный активной культурной памятью.<sup>26</sup> Он читал «Евгения Онегина» как универсальный роман русской жизни и русской литературы *всего* XIX в., роман, вобравший в себя не только до-, но и послепушкинские реалии национального быта и национальной культуры.

### 3. Где начало всечеловечности?

Слово «всечеловечность», аккумулирующее пафос Пушкинской речи, впервые явилось в лексиконе писателя за двадцать лет до этого события. Еще не произнесенное, оно предощущается в объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год: «...русская идея, может быть, будет синтезом тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях...» (18, 37). Основание для такого прогноза автор находит в «высочайшем и благороднейшем даре природы», которым награжден русский человек, — в «способности примирительного взгляда на чужое». Эта мысль развернута затем в программном выступлении Достоевского в первом номере нового журнала — во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе», где по существу проговорены основные положения будущей Пушкинской речи. Именно здесь впервые является и слово «всечеловечность», еще не отпочковавшееся от более привычной «общечеловечности».<sup>27</sup> Европейские нации, по представлению Достоевского, «разъединяются между собою почвенными интересами», в то время как русский человек «со всеми уживается и во все вживается», — это «способность высокосинтетическая, способность всепримирения, всечеловечности» (18, 54—55). Здесь же Достоевский связывает свою мысль с Пушкиным как последним и неопровержимым аргументом (18, 69). Впоследствии писатель не раз возвращается к этому слову и его вариантам с единой смыслообразующей морфемой («всепримиримость», «всепонимание», «всемирность», «всеотзывчивость», «всеслужение человечеству»), и нередко они санкционированы именем Пушкина (см.: 18, 99; 19, 114; 21, 69; 23, 30—31 и 47; 25, 199; 26, 114; 13, 375—377).

<sup>26</sup> Те же ошибки (о старом муже Татьяны и о путешествии Онегина за границей) сделал в своей статье о Пушкине 1868 года известный французский писатель, впрочем, весьма активно общавшийся с русскими коллегами: *Мериме П.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 5. С. 263.

<sup>27</sup> См.: *Буданова Н. Ф.* От «общечеловека» к «русскому скитальцу» и «всецеловеку»: Лексические заметки // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 201—208.

Каков генезис понятия, разветвленного в авторских синонимах и столь значимого в идеологии Достоевского? В тексте Речи есть указание на главенствующий первоисточник: «братское окончательное согласие всех племен по Христову евангельскому закону!» (26, 148). Однако кроме этого абсолютного и всеопределяющего закона (в Царстве Божием, как известно, нет ни эллина, ни иудея) есть иные, не названные, но более близкие по времени источники в истории европейской и русской мысли. Так, проскальзывающие в журнальном объявлении слова «синтез», «высокосинтетический» несут на себе печать германской философской традиции. Именно немецкие мыслители увидели во всемирной истории движение к общечеловеческому синтезу (Лессинг, Гердер, Гегель), во главе которого должна оказаться какая-то одна нация, ведущая за собою все остальные. Разумеется, они имели в виду всемирное назначение Германии. В общественном, политическом дискурсе это интегративное начало выразил Фихте в «Речах к немецкой нации», в поэтическом — Шиллер<sup>28</sup> и Гете. Литература не только доказывала, как философия, но и воплощала общечеловечность германского духа. Если Шиллер делал это в пламенной риторике этического императива («обнимитесь, миллионы»),<sup>29</sup> то Гете — непосредственно универсализирующей природой собственной творческой личности. «Всезрящей мыслию над миром он носился. / И в мире все постигнул он» (В. А. Жуковский. К портрету Гете, 1819); «На все отозвался он сердцем своим. <...> Крылатою мыслью он мир облетел» (Е. А. Баратынский. На смерть Гёте, 1832) — в этих и многих других русских отзывах отразился европейский миф о протеизме Гете, предшествовавший формированию подобного же мифа на русской почве — о Пушкине-Протее.<sup>30</sup>

Кстати, один из критиков Пушкинской речи обвинил Достоевского в «полнейшем невежестве» насчет известной всеотзывчивости Гете.<sup>31</sup>

Утверждению протеического мифа о германском гении немало способствовали романтики. В рассуждениях ведущего теоретика йенской школы Фридриха Шлегеля можно найти существенные моменты, предвещающие национальную апологию Достоевского:

<sup>28</sup> Томас Манн даже полагал, что идея призвания нации к всечеловеческому предстательству в речи Достоевского — прямое заимствование из стихотворения Шиллера «Немецкое величие» (Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 593—594).

<sup>29</sup> Эта строка из «Оды к радости» (Seid umschlungen, Millionen!), очевидно, отзывается у Достоевского в том же «Введении» к «Ряду статей о русской литературе»: «Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством» (18, 68).

<sup>30</sup> См.: Песков А. М. К истории происхождения мифа о всеотзывчивости Пушкина // Новое литературное обозрение. 2000. № 42 (2). См. также: Потапова Г. Е. От «протеизма» к «всемирной отзывчивости»: Очерк из истории одной идеи // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2001. Т. 16. С. 46—61.

<sup>31</sup> Г.-н. Романист, попавший не в свои сани // Дело. 1880. № 9. Отд. II. С. 168.

«Пресловутая немецкая *страсть к подражанию* временами может действительно заслуживать насмешек, которыми обычно ее клеймят. В целом же многосторонность — это подлинный прогресс эстетической культуры и близкое предвестие общезначимости». «Великим симптомом» этого национального качества Шлегель называет творчество Гете: «Способность к многостороннему изображению столь безгранична у этого поэта, что его можно было бы назвать Протеем среди художников...».<sup>32</sup>

Немецкий романтик решительно поменял местами ценностные знаки: подражательность немцев из недостатка превратилась под его пером в величайшее достоинство. Точно тем же путем проследовал через шесть десятилетий русский мыслитель: «...европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере назвали безличностью» (18, 54).

Кто эти европейцы, в академическом комментарии не указано. В первую очередь должна быть названа мадам де Сталь (вряд ли случайно, что она же была проводником идей немецких романтиков в Европе). В русских главах книги «Десятилетнее изгнание» (1821) французская писательница говорит о «духе подражания», который у русских людей «отнимает иногда даже национальный характер».<sup>33</sup> В целом де Сталь «отдала полную справедливость русскому народу»,<sup>34</sup> в частности, она утверждала: «Гибкость их органов очень облегчает им всякую имитацию; они англичане, французы, немцы по манерам — в зависимости от обстоятельств, но они никогда не перестают быть русскими: буйными и сдержанными вместе...».<sup>35</sup>

Другой иностранец, суждения о России которого Достоевский хорошо знал, — маркиз де Кюстин. В нашумевшей книге «Россия в 1839 году» (1843) он в отличие от де Сталь резко осудил переимчивость русского народа: «...весь его гений — подражательство; если все же кажется, будто есть в нем некая самобытность, то потому только, что еще ни один народ на свете не имел такой нужды в образцах для подражания; от природы наблюдательный, он становится самим собою, лишь перенимая чужие образцы. Вся его самобытность — дар подделки, которым он наделен больше всякого другого народа».<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 120.

<sup>33</sup> Цитируем по новейшему переводу Н. П. Анисимовой в кн.: Война 1812 г. и русская литература: Исследования и материалы. Тверь, 1993. С. 125. См. также: Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993. С. 178—179.

<sup>34</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1941. Т. 11. С. 27.

<sup>35</sup> Война 1812 г. и русская литература. С. 130.

<sup>36</sup> Кюстин А. Россия в 1839 году: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 324. См. также: Кийко Е. И. Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839» // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974. Т. 1.

Посвятив несколько страниц «первому здешнему таланту» Пушкину, Кюстин в соответствии со своим общим взглядом на Россию трактует его исключительно как «подражателя».<sup>37</sup>

Конечное предложение Кюстина «восстановить связь страны с ее древнею историей, обусловленную ее исконным характером»,<sup>38</sup> неожиданно оказалось созвучным славянофильским идеям. Двойственное отношение к французскому автору (с помощью достаточно прозрачных намеков на запрещенную в России книгу) высказал А. С. Хомяков в статьях «Мнение иностранцев о России» и «Мнение русских об иностранцах» (1845—1846). В первой из статей он отнес книгу к проявлениям традиционного «недоброжелательства» европейцев к России, а во второй сослался на «наблюдателей иностранных», которые «с насмешливым состраданием» говорят о нашем «рабелепстве перед иноземными народами», и вставил, как пример, реплику «остроумного француза»: «Странный вы народ русские. Вы потомки великого исторического рода, а разыгрываете добровольно роль безродных найденышей».<sup>39</sup> Реплика по смыслу совпадает с приведенным выше итоговым суждением Кюстина, так что естественно предположить, что неназванный француз — автор нашумевшей книги. Хомяков горячо присоединился к его «колкому замечанию». Насчет образовавшегося союза славянофила и славянофоба иронически прошелся Достоевский в «Петербургской летописи» 1847 года (18, 24—25, в комментариях полемика с Хомяковым не отмечена).

Позднее в статье «Разговор в Подмоскковной» Хомяков обозначил эту тему более гибко, диалектично и кое в чем опередил почвенника Достоевского (статья была опубликована в «Русской беседе» 1856 году, не исключено, что она оказала определенное воздействие на ведущего публициста «Времени», и в частности на его тезис о русской всечеловечности). Выражающий авторскую позицию Иван Александрович Тургенев излагает гердеровскую идею: «чем человек полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству» (мысль об универсальном значении национальной культуры ведет нас затем не только к Ап. Григорьеву, Достоевскому, русским философам Серебряного века, но и к европейским мыслителям Гуссерлю, Хайдеггеру, Ясперсу; противоположную идею взаимонепроницаемости национальных культур особенно ярко выразили Н. Данилевский и Шпенглер). Особую миссию

---

<sup>37</sup> Кюстин А. Россия в 1839 году. Т. 1. С. 297.

<sup>38</sup> Там же. Т. 2. С. 328.

<sup>39</sup> Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С.114—115. В комментариях к этому изданию имя «остроумного француза» осталось нераскрытым. В специальном исследовании книги Кюстина отмечен лишь первый, отрицательный отзыв Хомякова: Мильчина В. Несколько слов о маркизе де Кюстине, его книге и ее первых русских читателях // Кюстин А. Россия в 1839 году. Т. 1. С. 395.

Тульнев возлагает на русских: «...когда мы возвратимся домой (...) мы принесем с собою такое ясное понимание всего мира, которое и не снится самим немцам»<sup>40</sup> (сравнение с «самими немцами» становится понятным в свете вышесказанного о мифологеме германской всеотзывчивости).

И. С. Аксаков имел некоторое основание сказать по поводу Пушкинской речи Достоевского: «Мысли, в ней заключающиеся, — не новы ни для кого из славянофилов. Глубже и шире поставлен этот вопрос у Хомякова и у брата Константина Сергеевича».<sup>41</sup> Слова Аксакова нуждаются, правда, в существенной поправке: Достоевский «не нов» сравнительно со славянофилами в разработке общей идеи соотношения национального и общечеловеческого, но отнюдь не в применении ее к русской литературе («переимчивость» которой, за немногими исключениями, осуждалась и Хомяковым, и — особенно страстно — К. С. Аксаковым),<sup>42</sup> и в частности к Пушкину. В этом последнем случае следовало бы назвать предтечей Достоевского не Хомякова или К. С. Аксакова, а их «почвеннического» наследника и критика Ап. Григорьева.

Показательна эволюция еще одного ведущего славянофильского мыслителя — И. В. Киреевского. Еще до того, как славянофильство оформилось в качестве течения русской мысли, он возлагал надежды на «общеευропейский характер нашего просвещения» и доказательство тому искал в «гибкости и переимчивости характера нашего народа» («Обозрение русской словесности 1829 года»). Подражательность русской литературы представлялась ему тогда живой, творческой: английское, немецкое, французское, итальянское начала — «все это живет вместе, мешается, роднится, ссорится и обещает литературе нашей характер многосторонний, когда добрый гений спасет ее от бесхарактерности».<sup>43</sup> Позднее, будучи уже славянофилом, Киреевский усомнился в собственном прогнозе, отразившемся и в его ранней статье о Пушкине («Нечто о характере поэзии Пушкина», 1828). Позднее акцент сместился к опасениям насчет «бесхарактерности», и русская переимчивость уже не трактовалась Киреевским как достоинство.

Подобного рода колебания знал и Достоевский. В «Дневнике писателя» 1873 года («По поводу выставки»), заведя речь о русском

---

<sup>40</sup> Хомяков А. С. О старом и новом. С. 273, 258. См. также: Бадалян Д. А. А. С. Хомяков и Ф. М. Достоевский: К истории развития идеи народности в русской культуре XIX в. // Вестник С.-Петербургского ун-та. Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. 1999. Вып. 4 (23).

<sup>41</sup> Литературное наследство. Т. 86: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 515.

<sup>42</sup> См. особенно статью «Обозрение современной литературы» (1857) (Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 326).

<sup>43</sup> Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 61, 55.

даре «понимания чужих национальностей», автор вдруг засомневался: «...дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем {...} хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное» (21, 69).

Споры на эту тему разгорались в основном в 40-е годы, и Достоевский был их равнодушным свидетелем. Высоко ценимый им в юности Н. А. Полевой писал в полемическом задоре: «Нас упрекают, что мы все готовы принять и перенять, и ни на чем не останавливаемся. Но таково свойство Океана, объемлющего всю землю».<sup>44</sup>

В повести М. Ю. Лермонтова «Бэла» (1839) есть сходное замечание, переводящее быт в бытие: «Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость...».<sup>45</sup>

С 1841 г. начал издаваться журнал М. П. Погодина и С. П. Шевырева «Москвитянин». Уже при его открытии, в первом номере, обнаружилось расхождение между издателями. М. П. Погодин в предовой статье журнала «Петр Великий» провозгласил со свойственной ему прямолинейностью: «...пристрастие к иностранцам есть наследственный порок всех славянских племен ...порок, в коем обвиняли их даже чужие писатели».<sup>46</sup> В том же номере С. П. Шевырев в статье «Взгляд русского на образование Европы» характеризует «русский дух» как дух «всеобъемлющей терпимости и всемирного общения».<sup>47</sup> В дальнейших номерах журнала точку зрения Погодина поддержит В. И. Даль статьями о русском языке, а Шевырев, развивая свою мысль, обратится наконец к творчеству Пушкина. В сентябрьском номере за 1841 год в рецензии на 9—11 тома сочинений поэта он впервые даст формулу пушкинского протезизма, многократно затем повторявшуюся у разных авторов: «...удивляешься... как умел он с одинаковою легкостью и свободою переноситься в дух древней греческой поэзии, восточной, в Шекспира и в Данте. Многообъемлющему гению Пушкина все было возможно».<sup>48</sup> Шевырев, пожалуй, первый соединил две половинки русского мифа, унаследо-

---

<sup>44</sup> Полевой Н. Деяния Петра Великого... Сочинение И. И. Голикова. Статья первая // Сын Отечества. 1838. № 6. Критика. С. 89. Годом ранее П. Я. Чаадаевым была написана «Апология сумасшедшего» (впервые опубликованная лишь в 1862 г. за границей), где данное качество (широта обзора), объясненное поздним вхождением России в европейскую цивилизацию, также оценивалось как «большое преимущество» (Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 143).

<sup>45</sup> Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 223.

<sup>46</sup> Москвитянин. 1841. № 1. С. 20.

<sup>47</sup> Там же. С. 296.

<sup>48</sup> Там же. 1841. № 9. С. 247.

ванного Достоевским: переимчивость как национальное качество и художественная переимчивость Пушкина («это в Пушкине черта национальная»).

Шевырев не раз затем возвращался к найденной им диалектической формуле «русской силы», например в «Обзрении произведений русской словесности 1842 года»: «...она несокрушимо тверда, но с тем вместе имеет чудную, широкую емкость для того, чтобы воспринимать в себя все сокровища человеческого духа от других народов». <sup>49</sup> Эту особенность «духа народа русского», называя ее культурным «гостеприимством», Шевырев во «Введении в историю русской словесности» толкует в амбивалентном освещении: «Нет во всем существующем мире другого народа, в котором лица, отдельно взятые, были бы столь изменчивы, столь способны отречься от начала народного, от языка, от одежды, физиогномии, нравов, привычек, — и в котором с тем вместе великое целое было бы так твердо, упруго и самостоятельно. Россия то же, что море: волны его, как русские люди, изменчивы, но едино и полно само в себе нераздельное целое. <...> мы ничего не испугаемся и все в себя воспримем...». <sup>50</sup> Развернутое сравнение с морем заставляет вспомнить «океан» Н. Погодина — поэтिका национального мифа обязывает...

Г. Е. Потапова отметила недавно, что к сходной проблематике Шевырев обращался еще в домосквитянинский период на страницах своей книги «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (М., 1836), причем «всечеловечность» (первое известное нам употребление этого слова в русском языке) характеризует здесь немецкую словесность: «Всемирный эклектизм есть главный характер литературы германской и ее критики. <...> К чести Германии должно сказать, что только в этой стране, многосторонней, беспристрастной, мыслию своею обращенной ко всем народам, могло воспитаться это всемирное, всечеловеческое, всеобъемлющее чувство...». <sup>51</sup> Г. Е. Потапова в связи с этим склоняется к мысли о прямом «влиянии» Шевырева на Достоевского (что несколько преждевременно, учитывая общий контекст русских споров, отчасти развернутый в настоящих заметках, и особенно участие Белинского, о котором речь пойдет далее) и остроумно подмечает «какую-то иронию судьбы, какой-то ее подвох в том, что свойство, которое Достоевский считал исключительной принадлежностью русских, задолго до него было осмыслено (впрочем, гораздо более сдержанно и рационально) как свойство преимущественно немецкое. Не сказала ли в этом неизбежная ограниченность любого мессианизма — постоянно

<sup>49</sup> Там же. 1843. № 11. С. 168.

<sup>50</sup> Там же. 1844. № 1. С. 234—235.

<sup>51</sup> Шевырев С. П. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836. С. 235, 269.

грозящая ему опасность оказаться отнюдь не уникальным именно там, где он себя таковым мнит?...».<sup>52</sup>

С тезисом об «ограниченности любого мессианизма» не имеет смысла спорить ввиду библейской истории (можно было бы припомнить еще один — польский вариант, где также фигурировала всечеловечность), но «ответственность» за него с Достоевским по совести должны бы разделить те же Белинский и Шевырев; последний, несмотря на весь свой «рационализм» в 40-е годы, собственноручно перенес немецкий миф на русскую почву: это, говорит он, «наш добрый эклектизм».<sup>53</sup> В рецензии на «Петербургский сборник» 1846 года (в котором были напечатаны и «Бедные люди» Достоевского) Шевырев утверждал, что в формировании идеи, как он выразился, «народности всеобщей» за англичанами и немцами «следуем мы». Русская народность в своей обращенности к универсуму оказывается последовательнее и выше предшественников: «Англичане крепко сознают свою народность — и в этом сознании ее заключается им уже возможность сознавать и другие. (...) Немцы сознают народность, но отвлеченно, в других народах, а никак не могли и не могут достигнуть сознания своей собственной народности в жизни. (...) Наше дело иное, и английское и немецкое, а вместе с тем и не английское и не немецкое. Народ наш крепко и цельно сознает свою народность, так же крепко, как каждый англичанин сознает лично свою в самом себе; но нельзя того же сказать о каждом русском. Русские единицы не так крепки в сознании народности, как английские, даже напротив. Они легко отрекаются от народности, но все-таки не так, как немцы. В существе своем, бессознательно, они все остаются русскими (...), но в разумном сознании своем они легко изменяются — и в образе мыслей мы нигде не найдем такого всемирного разнообразия народных оттенков, как между своими. Это к добру. Вот почему мы нация всемирная, народ всенародный, язык многоязычный».<sup>54</sup>

Последнее определение созвучно знаменитой ломоносовской формуле русского языка («великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка»),<sup>55</sup> вероятно, первому осознанию всечеловечности национального духа, проявившемуся в лингвистической сфере. Мысль эта в XIX в. была повернута в иную сторону небезызвестным адмиралом Шишковым, который даже несчастья 1812 года приписывал пристрастию русского общества к французскому языку: «...мы боль-

<sup>52</sup> *Потапова Г. Е.* От «протеизма» к «всемирной отзывчивости». С. 54.

<sup>53</sup> *Шевырев С. П.* Взгляд на современную русскую литературу. Статья вторая // Москвитянин. 1842. № 3. С. 159.

<sup>54</sup> Москвитянин. 1846. № 3. С. 179—180.

<sup>55</sup> *Ломоносов М. В.* Избранная проза. М., 1986. С. 420.

ше всех прочих народов примечаем в себе страсть к сему подражанию. Когда мы наружностью своею столько стараемся быть на них похожими, то может ли внутренность наша остаться неповрежденною?».<sup>56</sup> Раздражение обезьянством высшего сословия и догматический консерватизм помешали адмиралу по достоинству оценить открытость русского языка, согласно Пушкину, «столь переимчивого и общежительного в своих отношениях к чужим языкам».<sup>57</sup> Вопрос Шишкова тем не менее будоражил русскую мысль в 40-е годы с не меньшей остротой, чем два-три десятилетия назад (упомяну еще раз выступления В. И. Даля, разделявшего пафос адмирала).

Шевыревскому оптимизму в том же «Москвитянине» противостоял еще И. В. Киреевский. В «Обзрении современного состояния литературы» (Москвитянин. 1845. № 1) он выразил резонные опасения соратников Шевырева: «Может быть, справедливо думают те, которые утверждают, что мы, русские, способнее понять Гегеля и Гете, чем французы и англичане; что мы полнее можем сочувствовать с Байроном и Диккенсом, чем французы и даже немцы; что мы лучше можем оценить Беранже и Жорж Занд, чем немцы и англичане. И в самом деле, отчего не понять нам, отчего не оценить с участием самых противоположных явлений? Если мы оторвемся от народных убеждений, то нам не помешают тогда никакие особенные понятия, никакой определенный образ мыслей, никакие заветные пристрастия, никакие интересы, никакие обычные правила. Мы свободно можем разделять все мнения, усваивать себе все системы, сочувствовать всем интересам, принимать все убеждения».<sup>58</sup>

Та же мысль в 1861 году получает у Достоевского безусловно позитивную окраску: «Гете известен у нас несравненно более, чем во Франции, а может быть, и в Англии. Английская же литература, бесспорно, несравненно нам известнее, чем во Франции, а может быть, и в Германии». Все это, по Достоевскому, указывает на «факт необыкновенного общечеловеческого стремления русского племени», составляющего «может быть, главную сущность русской народности» (19, 17—18).

Возвращаясь в 40-е годы, отметим, что споры в «Москвитянине» наиболее тесным образом отразились... у западника В. Г. Белинского. Критик, как ни странно это покажется, зная его отношение к «пе-

---

<sup>56</sup> Двенадцать собственноручных писем адмирала А. С. Шишкова. СПб., 1841. С. 30. Выразитель противоположного направления в развитии русского литературного языка Н. М. Карамзин тем не менее в общем историософском плане солидаризировался с этим мнением: «Честью и достоинством Россиян сделалось подражание (...). Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр» (*Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России*. М., 1991. С. 33—34).

<sup>57</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 144.

<sup>58</sup> Киреевский И. В. Избранные статьи. С. 151—152.

данту» Шевыреву, поддержал сторону последнего. В восьмой статье о Пушкине находим следующее рассуждение: «Некоторые из горячих славянолюбов говорят: „Посмотрите на немца, — он везде немец, и в России, и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его судьба; а русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии — немец”. Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспоривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских».<sup>59</sup>

В последующем Белинский, обращаясь к этой теме, проявлял колебания, свидетельствовавшие о глубочайшей заинтересованности этого западника, о мучительности для него вопроса «русской личности» (поневоле вспоминается немец Крафт из «Подростка»). В письме к В. П. Боткину от 8 марта 1847 года он признавался: «Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания».<sup>60</sup> Свидетелем этого «тяжкого пути» был начинающий писатель Достоевский, который, по его собственному признанию, в то время «страстно принял все учение» Белинского (21, 12). Скорее всего, именно Белинский, а не Шевырев «заразил» Достоевского этой проблемой в 40-е годы.

Белинский выработал тогда гибкую формулу, примиряющую трезвость с энтузиазмом. Критик предложил свое решение в статье «Мысли и заметки о русской литературе», напечатанной в «Петербургском сборнике»: «Барьеры национальности непреходимы для европейцев. Может быть, это наша величайшая выгода, что нам равно доступны все национальности, и наши поэты так легко и свободно становятся в своих произведениях и греками, и римлянами, и французами, и немцами, и англичанами, и итальянцами, и испанцами, но это выгода в будущем, как указание на то, что наша национальность должна выработаться широко и многосторонно. В настоящем же это пока скорее недостаток, чем достоинство, не столько широкость и многосторонность, сколько невыработанность и неопределенность своего собственного личного начала».<sup>61</sup>

Примирительную позицию в споре о всечеловечности Белинский выразил в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (содержащей также критический разбор «Двойника» Достоевского): «Известно, что французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга — тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни (Шевырев. —

---

<sup>59</sup> Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 367. Это высказывание в данном издании (как и в других) оставлено без комментария.

<sup>60</sup> Там же. Т. 9. С. 632.

<sup>61</sup> Там же. Т. 8. С. 43.

В. В.) видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами; другие (Погодин и Киреевский. — В. В.) выводят из этого весьма печальные заключения о бесхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра: ибо, говорят они, у кого нет своей жизни, тому легко подделываться под чужую (...). В последнем мнении много правды, но не совсем лишено истины и первое мнение, как ни заносчиво оно. И далее, хотя очень осторожно, с оговорками, Белинский приблизился к той идее, которой впоследствии загорится Достоевский: «Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания».<sup>62</sup> Г. В. Плеханов безусловно мог упрекнуть предшественника: «Это был тот же самый путь отрадных догадок и пророчеств, по которому так далеко ушли славянофилы и народники».<sup>63</sup> Самым замечательным из продолжений этого «пути» стала, конечно, Пушкинская речь Достоевского, вобравшая в себя движение русской этнософии, литературной критики, зарождавшегося пушкиноведения.

В сфере последнего уже в 1840—1850-е годы общим местом стало постулирование протеизма. О всеотзывчивости Пушкина-художника, переводя разговор в эстетическое русло, писали Н. В. Гоголь («В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»), А. В. Дружинин («А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений»). Этнософский оттенок сохраняло замечание П. В. Анненкова о присущей Пушкину «национальной способности понимания чужих идей и образов и усвоения их».<sup>64</sup> На Пушкинском празднике 1880 г., опережая Достоевского, эту мысль реанимировал Тургенев, когда в своей речи сказал о присущей поэту «мощной силе самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к „ассимиляции“».<sup>65</sup> Достоевский остался недоволен речью Тургенева, полагая, что тот «отнял у Пушкина значение народного поэта» (30, 188). Тот и в самом деле не прочь был хотя бы отчасти солидаризироваться с мнением «иностранцев» и «восприимчивость» русского гения, его «женское начало», во-первых, связывал с тем, что мы «позднее других вступили в круг европейской семьи»,

---

<sup>62</sup> Там же. С. 194—196.

<sup>63</sup> Плеханов Г. В. История в слове. М., 1988. С. 75.

<sup>64</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. М., 1984. С. 383.

<sup>65</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.; Л., 1968. Т. 15. С. 67, 71.

а во-вторых, уравнивал его «мужским началом самодеятельности».

Речь Достоевского не положила конца разномыслию. Идея всечеловечности была вскоре осмеяна западниками, либералами (И. С. Тургенев, А. Д. Градовский) и радикалами (журналы «Дело», «Отечественные записки»), а также некоторыми из славянофилов (А. И. Кошелев). Впоследствии в русской философской мысли одни пошли за Вл. Соловьевым, принявшим и перенявшим пафос Достоевского, а другие — за К. Леонтьевым, отвергнувшим основную идею Пушкинской речи. Любопытно, что в 1937 году, в столетие смерти поэта, как бы заново повторился тот раскол в славянофилах, что в 40-е годы XIX в. выплеснулся на страницы «Москвитянина». С. Франк («О задачах познания Пушкина») развил тогда близкое Достоевскому понимание универсализма Пушкина, а И. Ильин («Пророческое призвание Пушкина») увидел в идее всечеловечности лишь «беспочвенность и бессилие». Но это тема особого и трудного разговора, уводящего нас от генезиса речи к ее интерпретациям, т. е. от вопроса «откуда пошла всечеловечность» к вопросу «что с нею стало после взлета Пушкинской речи».<sup>66</sup>

#### 4. Кто «эти два исключения»?

Идея всечеловечности в Пушкинской речи увязана с другой, равноценной: «И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших о народе, а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то, право же, до сих пор, за одним, много что за двумя исключениями из самых позднейших последователей его, это лишь „господа“, о народе пишущие. У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет, а промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом *взаправду...*» (26, 144).

Кто эти неназванные исключения, ближе всех подошедшие к пушкинскому пониманию народа? В комментарии к академическому изданию сказано: «Одним исключением Достоевский считал,

---

<sup>66</sup> Патриотическая риторика вокруг «всечеловечности» вызывает к жизни противоположную крайность. Так, М. Вайскопф называет мысль Достоевского о русской всечеловечности «охранительной мифологемой», а воплощение национального «синтеза» находит в «мимикрии Чичикова» (*Вайскопф М. Сюжет Гоголя*. С. 394—395).

по-видимому, Льва Толстого. Добавление „из самых позднейших” делает затруднительным отнесение той же оценки к Тургеневу, Некрасову, Островскому. Скорее, Достоевский мог иметь в виду под другим Ф. М. Решетникова, а может быть, и Н. С. Лескова» (26, 500).

Еще в 1861 году в статье «Рассказы Н.В. Успенского» Достоевский назвал самых значительных, с его точки зрения, «верных описывателей народного быта»: Островского, Тургенева, Писемского, Толстого (19, 178). В этом списке нет Некрасова, возможно, по той причине, что речь в статье шла о беллетристике. Так или иначе, но с 1873 года, со статьи «Влас», имя Некрасова стоит для Достоевского едва ли не первым в данном ряду. Список Достоевского вряд ли претерпел серьезные изменения на исходе 1870-х годов. Во всяком случае, четверо — Островский, Тургенев, Л. Толстой, Некрасов — и в новую эпоху сохранили в его глазах ведущие позиции. На это десятилетие приходится вершина фольклорно-поэтической символизации («Снегурочка») и купеческой темы («Бесприданница») у Островского. Тургенев возвращается к «Запискам охотника» и, в частности, дополняет их рассказом «Живые мощи» (близким Достоевскому в изображении обыденно-святого в народном характере), чтобы затем подвести свой (антипатичный Достоевскому) итог теме народа и интеллигенции в романе «Новь». Лев Толстой реализует в «Анне Карениной» идею, сформулированную в незавершенных «Декабристах»: «Сила России не в нас, а в народе». Наконец, Некрасов создает поэтический эпос народной жизни «Кому на Руси жить хорошо».

Уточнение Достоевского «из самых позднейших» не должно исключать названных писателей из круга претендентов на имя «самых талантливых ... двух исключений». Слово «позднейшие» предполагало, конечно, не дату рождения того или иного писателя, а его реальное участие в литературном движении последнего десятилетия.

Писателей нового поколения, родившихся в конце 30-х—начале 40-х годов и принадлежащих к народничеству (Наумов, Нефёдов, Г. Успенский, Засодимский, Златовратский), Достоевский мог, конечно, подразумевать в числе «многих знатоков народа ... любовно писавших о народе», но вряд ли мог назвать их «талантливыми» (так в свое время он усомнился в «художнической силе» Н. Успенского в указанной статье — 19, 184). Не исключением был и самый одаренный из них — Г. Успенский, впрочем, еще не достигший тогда своей вершины.

Что, собственно, подразумевал Достоевский под словом «талант», столь значимым для понимания комментируемого текста? Вновь возвращаясь на двадцать лет назад, мы находим необходимое определение в статье Достоевского «Г-н — бов и вопрос об искусстве»: «На что и талант у писателя, чтоб произвести впечатление. Можно знать факт, видеть его самолично сто раз и все-таки не получить

такого впечатления, как если кто-нибудь другой, человек особенный, станет подле вас и укажет вам тот же самый факт, но только по-своему, объяснит вам его своими словами, заставит вас смотреть ни него своим взглядом. Этим-то влиянием и познается настоящий талант» (18, 89—90).

Талант (или, что то же, художественность), по Достоевскому, — качество зрения. Искусственно-идеальные «пейзаны» Марко Вовчок, а в равной степени и безнадежно-примитивные мужики Николая Успенского оценивались Достоевским в 1861 году как не вполне художественные изображения. В 70-е годы эти полюса народной темы сохранились в русской беллетристике (например, Златовратский — Потехин), и отношение Достоевского к ним осталось неизменным. Подлинный художник лишь тот, кто соединяет в себе оба начала: в эмпирике «насушного видимо-текущего» он прозревает идеал — «концы и начала» (23, 145).

Ключевой фигурой нового литературного поколения М. Е. Салтыков-Щедрин «назначил» Ф. М. Решетникова. В статье «Напрасные опасения» (1868), а затем в рецензии на роман «Где лучше?» (1869) критик определил суть совершенного писателем «переворота» в русской литературе: изображение не отдельного персонажа, но «целой народной среды».<sup>67</sup>

Поворотное значение народных романов Решетникова оценил и Достоевский. В письме к Н. Н. Страхову 18 (30) мая 1871 года, касаясь последних произведений Тургенева, он высказал одну свою заветную мысль: «А знаете — ведь это всё помещичья литература. Она сказала всё, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. *Нового слова*, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове, уже не помещичьего, — хотя и выражают в безобразном виде)» (29<sub>1</sub>, 216).

Явление «нового слова» о народе, произнесенного не «извне», а «изнутри», Достоевский напророчил затем в своей некрасовской речи, сказанной на могиле поэта. По воспоминанию В. Г. Короленко, Достоевский заявил: «Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...».<sup>68</sup> Пророчество, как мы полагаем, оправдалось в следующем веке.

Что касается непосредственно Ф. М. Решетникова, то, конечно, не его имел в виду в своей речи Достоевский, намекая на «исключительных» двух последователей Пушкина. Эпос народных страданий,

<sup>67</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 35, 323.

<sup>68</sup> Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 488.

безнадежных поисков сытой счастливой жизни развернут в вершинном романе писателя «Где лучше?» (1868), но в описанной им среде отверженных в отличие от любимого Достоевским романа В. Гюго нет ни проблеска христианского света. Если иногда, в тяжкие минуты, и всплывают в мужицкой памяти глубоко засевшие там слова молитв (глава XIV первой части), они решительно ничего не меняют в грубом, безжалостном бытии. Жалость, доброта, любовь здесь изредка проявляют себя лишь как свойства человеческой природы, неокончательно поверженной. Формально христианизованным, а в существе своем язычником предстает русский народ и в очерках Г. Успенского. Свет христианской истины не светит в этом мире — такое видение народа прямо противоречило представлениям Достоевского о «новом слове» русской литературы. Писателей такого рода он не мог считать наследниками Пушкина.

Предположение, что Достоевский «мог иметь в виду (...) Н. С. Лескова», на наш взгляд, не имеет под собой реальных оснований. Лесковская стилизованная, в том числе «под народ», манера «говорить эссенциями» (21, 88) была зло осмеяна Достоевским еще в 1873 году. За редкими исключениями (21, 55), он вообще невысоко ставит лесковское «хождение в народ»,<sup>69</sup> чаще всего просто игнорируя усилия писателя в этой области (в отличие, например, от его «попиков» — 29, 172). В лучшем случае Достоевский мог иметь в виду Лескова среди «многих знатоков» и «„господ“, о народе пишущих», но никак не числил его в «двух исключениях». Эти последние, судя по всему, тоже «господа», однако сумевшие вслед за Пушкиным «сродниться с народом».

На это место Достоевский без колебаний ставил только одного из своих современников — Н. А. Некрасова. За два с половиной года до Пушкинской речи вышел «некрасовский» номер «Дневника писателя» (декабрь 1877 года), где намечены были основные идеи речи в связи с «чрезвычайным явлением в нашей жизни и в нашей поэзии, каким был Некрасов» (26, 113). Достоевский объявил его прямым наследником Пушкина: «...за Некрасовым остается бессмертие (...) за преклонение его перед народной правдой, что происходило в нем не из подражания какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой» (26, 118). В записных тетрадях Достоевский обозначил место Некрасова «в числе тех трех поэтов, которые явились с новым словом» (26, 203), т. е. сразу после Ломоносова и Пушкина.

---

<sup>69</sup> Глубинные различия двух писателей в их понимании русского народа обозначены в кн.: *Анненский Л. А.* Лесковское ожерелье. М., 1986. С. 53. См. также недавнюю работу: *Власкин А. П.* Заочный диалог Н. С. Лескова и Ф. М. Достоевского по проблемам религиозности и народной культуры // *Русская литература.* 2003. № 1.

В данном контексте намек автора Пушкинской речи прочитывается однозначно. На место после Пушкина в формировании «нового слова» литературы о народе мог быть поставлен только Некрасов.

Контекст, о котором мы говорили, — это публицистика Достоевского 1870-х годов. Его «узаконил» сам автор, включив Пушкинскую речь в состав продолжающегося «Дневника писателя». Контекст позволяет точнее прочитать сам текст. В частности, контекст «Дневника писателя» задает направление поиска второго «исключительного» наследника пушкинского народознания.

В «Дневнике писателя» 1877 года (предшествовавшем пушкинскому выпуску 1880 года) обозначены два центра современного литературного процесса. Вообще-то «претендентов» на эту роль рассмотрено трое, но претензии одного из них — И. С. Тургенева как автора только что вышедшего романа «Новь» — решительно отведены. Первый и бесспорный в литературной иерархии Достоевского, как уже говорилось, — Некрасов. Второй — Л. Н. Толстой. Именно его Достоевский в июльско-августовском «Дневнике писателя» 1877 года выделяет из современных последователей Пушкина — как самого значительного из всей «плеяды». Новый роман писателя, «Анну Каренину», Достоевский подробно разбирает «как факт особого значения» (25, 198), а в связи с этим (как и в случае с Некрасовым) проговаривает основные идеи будущей Пушкинской речи (25, 199—200).

В главе июльско-августовского «Дневника писателя» 1877 года «Помещик, добывающий веру в Бога от мужика» Достоевский нащупывает тему, идущую у Толстого еще от ранних произведений («Утро помещика», «Казачи», «Севастопольские рассказы»...) через «Войну и мир», педагогическую публицистику — к «Анне Карениной». На протяжении этого пути в авторе росло то начало, которое либеральная критика иронически окрестила «поклонением мужику».<sup>70</sup> В названной главе Достоевский анализирует некоторые итоги этого пути Толстого, отразившиеся в «Анне Карениной», и в особенности ключевой эпизод XI главы восьмой части — разговор Левина с мужиком («Фоканыч <...> для души живет, Бога помнит»). Анализ этот необходим автору «Дневника писателя», чтобы показать, от чего отдалился Толстой, толкуя в романе современный «славянский вопрос» как выдумку теоретизирующих народолюбцев. Здесь не место вдаваться в детали этого важного спора, заметим лишь, что отго-

---

<sup>70</sup> Марков Е. Л. Народные типы в нашей литературе // Отечественные записки. 1865. Январь. Кн. 2; Февраль. Кн. 1. Характерный и последовательный представитель либерально-западнического крыла русской журналистики, Марков видел культурное назначение народа в «подвое материалов» для образованного слоя общества. Ср. более позднюю его статью: «Мужиковствующие писатели» (Русская речь. 1880. № 12).

лоски его слышны и в Пушкинской речи, в том месте, где Достоевский говорит о непоследовательности современных пушкинских продолжателей, «„господ”, о народе пишущих»: «У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и ослативить его этим поднятием» (26, 144).

Подобного рода упрек был брошен Достоевским и в адрес Некрасова: «...он всю жизнь свою был под влиянием людей, хотя и любивших народ, хотя и печалившихся о нем, может быть, весьма искренно, но никогда не признававших в народе правды и всегда ставивших европейское просвещение свое несравненно выше истины духа народного» (26, 118). «Под чужими влияниями», по Достоевскому, сформировались радикалистские мотивы творчества Некрасова. Вновь мимоходом, намеком задевает он здесь и отношение западной интеллигенции к «славянскому вопросу» («Не они ли в русском народном движении, за последние два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народного, которую он, может быть, в первый раз еще высказывает в такой полноте и силе» — 26, 118).

Обнаружив все эти скрепы, связывающие Пушкинскую речь с предшествующими публицистическими выступлениями Достоевского (в особенности в контексте «Дневника писателя»), можно теперь с некоторой уверенностью раскрыть намеки автора: и его указания на Некрасова и Л. Толстого, и укоризны в их адрес.

Почему же Достоевский прямо не назвал имен и не конкретизировал упреки? Как мы полагаем, это несколько увело бы в сторону сжатую, как пружина, императивность речи. А с другой стороны, эти намеки — вполне в духе и стиле Достоевского: он тем самым прогнозирует читателя (слушателя), теряющегося в догадках, строящего предположения, идущего *своим путем* в указанном автором направлении. Энергия авторской мысли в соединении со свободой, предоставляемой читателю, — этот генерирующий синтез художественного слова Достоевского распространился и на публицистический жанр.

Пушкинская речь Достоевского предстает перед нами произведением, глубоко погруженным в движение современной русской мысли, литературной и общественной. Явные и неявные намеки, аллюзии, цитаты будоражили культурную память слушателя (читателя). Многослойность речи, множественность подразумеваемых смыслов передают живую пульсацию мысли автора как выразителя движущейся национальной культуры.